

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В XX ВЕКЕ:  
ИМЕНА, ПРОБЛЕМЫ,  
КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

ВЫПУСК 9

«Отцы» и «дети» в русской литературе XX века

Томск  
Издательство Томского университета  
2008

*Н. Гаврилова*

## «СЕРЕНАДА ОТЦА», ИЛИ ОБРАЗ РЕБЕНКА В ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО

Несмотря на то, что Иосиф Бродский – признанный поэт «вещей и пейзажей», тема детства и «образ» ребенка занимают заметное место в его стихотворениях. Их исследование позволяет выявить понижение Бродским жизни человека в природном и историческом времени, понимание преемственности и разрыва в культуре.

Современные культурологи утверждают, что в XX веке разрыв между поколениями «нов, глобален и всеобщ». Опыт старшего поколения утрачивает значимость уже в следующем поколении, поэтому институт отцовства редуцируется<sup>1</sup>. В.И. Мильдон пишет, что в русском сознании и до XX века историческое прошлое периодически воспринималось как некое заблуждение, которое нужно исправить. В опыте аннигиляции, превращения «нечто» в «ничто» заложена проблема «отцов и детей». Мильдон считает, что во взаимоотношениях отцов и детей на Западе подтверждается архетипический сюжет детоубийства (Хронос), в России – отцеубийство (Эдип)<sup>2</sup>. В ранней советской идеологии кровно-родовые связи приносились в жертву служению высшим узам: классовым, общечеловеческим<sup>3</sup>. Во второй половине XX века проблема взаимоотношений поколений переосмысливается шестидесятниками, разрыв с поколением отцов воспринимается как трагедия. По наблюдениям Т. Снигиревой, А. Подчиненова, комплекс безотцовщины – одна из важнейших составляющих художественного сознания, проявившаяся, с одной стороны, в интoзации

<sup>1</sup> Мид М. Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями // Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. С. 322–361.

<sup>2</sup> См.: Мильдон В.И. Отцеубийство как русский вопрос // Вопросы философии. 1994. № 12. С. 50–58.

<sup>3</sup> См.: Кларк К. Сталинский миф о «великой семье» // Вопросы литературы 1992. № 1. С. 72–96.

безысходности, потерянности, в «появлении «мятушегося», «инфантильного» героя, героя с угнетенным, подчас раздвоенным сознанием», с другой стороны, в том, что предметом художественной рефлексии становится «разрушении норм потока жизни»<sup>1</sup> (напомним здесь только о «деревенской» прозе и поэзии). В литературе «новой волны» (в «постшестидесятической» литературе, как пишет М. Липовецкий, констатируется разрушение духовных связей между поколениями, но возникает особый код детства: не Эдип, замещающий отца, не новый демиург, а субъект игры, направленной к свободе, не претендующей на господство, эстетической, то есть неэтической и непрагматической, индифферентной к миру взрослых. Ребенок воспринимает мир как тексты, хотя эстетическая утопия в новой литературе совмещается с будничной антиутопией жизни<sup>2</sup>.

В поэзии Бродского концепт ребенок (детство) присутствует в разных значениях: во-первых, ребенок как воплощение новой – инаковой – жизни, вытесняющей предыдущие феномены; во-вторых, ребёнок – носитель некультуренного сознания, проявляющего свойства человеческого сознания как такового, близостью к небытию; в-третьих, ребенок – порождение собственной плоти и крови, биологическое продление без установление духовной связи.

В архетипе младенца К.Г. Юнг<sup>3</sup> выделяет следующие смысловые доминанты, которые можно распространить и на образ ребенка: младенец – это возможное будущее, развивающееся и отделяющееся от своих истоков; младенец воплощает бессознательное и инстинктивное во внутренней жизни человека; младенец незащищен, но обладает способностями, превосходящими обычные способности взрослого. Младенец – начало и конец, он символизирует досознательную и постсознательную сущность человека.

Бродский тему отцов и детей поворачивает проблемой духовных связей, возможностей передачи личностного опыта; «ребенок», «дети» выступают знаками «чуждости», отделённости; позиция лирического субъекта соотносится с позицией «отца», старшего, а не с позицией ребёнка,

---

<sup>1</sup> Слизирева Т., Подчинсков А. «Сын за отца не отвечает?»: Комплекс безотцовщины в советской литературе // Семейные узы: модели для сборки 2. М.: НЛЮ, 2004. С. 92.

<sup>2</sup> См. Липовецкий М. «Причастный тайнам – плакал ребенок...» Образ детства в прозе «новой волны» // Детская литература. 1991. № 7. С. 8–13.

<sup>3</sup> Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев-М.: Порт-Рояль – Совершенство, 1997. 384 с.

не с позиций нового поколения, имеющего права времени, но не опыта. Можно сказать, что Бродский не воспроизводит в лирическом субъекте комплекс Эдипа, скорее, он выступает объектом замещения, жертвой времени, проявляющемся не в силе Хроноса-отца, а в силе Хроноса детей. Мы позволили вынести эту мысль в названии статьи, включив в него цитату из самого Бродского.

Уже в ранних стихотворениях Бродского образ ребенка выступает как знак новой жизни, не агрессивной, но призванной заместить на стоящее. В «Современной песне» из цикла «Июльское интермеццо» (1961) «современность» — настоящее время — предстает как построение жизни из развалин прошлого, следствием этого «строительства» станет исчезновение даже развалин, следов прошлого:

*ничего нет страшнее развалин, <...>  
которые перестают казаться метафорой  
и становятся тем, чем они были когда-то: домами.*

Хождение среди развалин — метафора человеческого существования. Люди делятся на тех, кто не помнит опыта развалин и потому оптимистичен («Нам, людям нормальным, и в голову не приходит, как это / можно вернуться домой и найти вместо дома — развалины», «Даже сидя в гостях у — слава Богу — целых знакомых», «изобилие городов наполняет нас всех оптимизмом»), и тех, кто чувствует присутствие развалин, движение времени, уничтожающего прошлое («его привлекают развалины», «привыкнешь, что развалины существуют»). Дети — люди без опыта развалин: «как призраки, бродят / люди с разбитым сердцем и дети в беретах» прочитывается разница между восприятием прошлого теми, кто его ощущает как развалины («с разбитым сердцем»), и любознательным — чужим, детским — взглядом («дети в беретах» не снимают головной убор, не ощущают почтенного трепета). В стихотворении юного поэта выражена невозможность передать собственный опыт детям, поскольку они сами не имеют опыта и не могут оценить значимость прошлого опыта; ирония оценивает попытки «все объяснить» как самообман взрослых, «научившихся»:

*...начинает порою казаться, что всему научился,  
и теперь ты легко говоришь*

<sup>1</sup> Бродский И. Сочинения: В 4 т. СПб.: Пушкинский фонд, 1992–1995. Т. 1 С. 91. В дальнейшем стихотворения Бродского цитируются с указанием в скобках тома и страницы этого издания.

*на улице с незнакомым ребенком  
и все объясняешь.*

Трагизм осознания разрыва связи между поколениями заключается не только в осознании собственного бесследного исчезновения, как исчезновения отцов, но и в понимании отсутствия позитивного опыта, способствующего оптимизму нового поколения. В стихотворении «Еврейское кладбище около Ленинграда...» (1958) [I, 21] «еврейский» опыт оказывается опытом смерти: «Но учили детей, чтобы были терпимы / и стали упорны. / И не сеяли хлеба. / Никогда не сеяли хлеба. / Просто сами ложились / в холодную землю, как зерна».

А. Ранчин утверждает, что «отчуждение героя от нового поколения, вступающего в жизнь» впервые сформулировано в стихотворении «1972 год»: «Бродский пишет о новом поколении как о могильщиках лирического героя»<sup>1</sup>. Однако образ детства как новой, замещающей и заглушающей жизни возникает, кроме уже названных, в стихотворениях «Бессмертия у смерти не прошу» (1961?) («и над моей могилою еврейской / младая жизнь настойчиво кричит»), «Феликс» (1965). Безусловно, интерпретация детства как вытеснения жизни приобретает более трагический характер в зрелом творчестве Бродского. Обращаясь к стихотворениям «Сидя в тени» (1983), «Fin de siècle» (1989), «Август» (1996), Ранчин делает вывод, что «дети изображены как «враги» уходящего поколения, как те, кто вытесняет старших из жизни, убивает их»<sup>2</sup>. Соглашаясь с исследователем, заметим, что образы детей у Бродского связаны не только с ощущением вытесняющей поколение лирического субъекта жизни. «Чужие» дети – это и проявление «чуждости» сознания «других», проявление естественного закона отчуждения. Дети у Бродского изображены кричащими, орущими на непонятном языке, что усиливает ощущение «чуждости» новой жизни: в стихотворениях «Разговор с небожителем» (1970) («за стеною вопит младенец»), «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974) («дети голосят»); «Осенний крик ястреба» (1975) («детвора / выбегает на улицу в пестрых куртках / и кричит по-английски: “Зима, зима!”»), «Посвящается Джироламо Марчелло» [1993] («Набережная кишит / подростками, болтающими по-арабски» [III, 252]), «Робинзонада» (1994) («младенцы визжат»).

<sup>1</sup> Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 34–35.

<sup>2</sup> Там же. С. 35.

Ещё одно суждение А. Ранчина важно в трактовке темы поколений, где лирический субъект принимает позицию старшего поколения: «Оппозиция «лирический герой (его поколение) – новое поколение» имеет у Бродского глубокий культурный смысл. Сверстники лирического героя – последнее поколение, живущее ценностями высокой культуры»<sup>1</sup>. Для Бродского проблема отцов и детей была проблемой самоопределения в культуре. По словам М. Айзенберга, в 1950–1960-е годы культурная реальность ощущалась как пустыня, выжженная земля, культуру нужно было создавать заново и приходилось «наследовать через пробел»<sup>2</sup>. Бродский в эссе «Меньше единицы» (1976) говорил: «Это было единственное поколение русских, которое нашло себя...» [V, 24], но не в предшествовавшем «советском» поколении, а в поколении, сохранявшем свою – досоветскую – культуру в советской реальности. Отсюда его стремление принадлежать к «отцам».

Стихотворения, написанные в конце 1950 – начале 1960-х годов, дают осознание собственного поколения как единого. Используется местоимение «мы», куда автор включает и себя, дается ощущение этого «мы» в мире. «Стихи о принятии мира» (1958) [I, 20] посвящены Якову Гордину, «мы» обращено к группе единомышленников, утверждающих своё место в нерадушном мире: «Все это нас палило», «Все это лило, било, / вздергивало и мотало, / и отнимало силы...» и т.д. Во второй части дается характеристика поколению, которое научилось противостоять («Но мы научились драться») и самоопределилось («и до земли добираться / без лощманов и без лощий»). «Принятие» мира включает и принятие его несовершенства, ибо этот мир породил молодых сверстников:

*Нам нравятся складки жира  
на шее у нашей мамы,  
а также – наша квартира,  
которая маловата  
для обитателей храма.*

<sup>1</sup> Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 36. См. также анализ А. Разумовской: «Сидя в тени» И. Бродского: текст и контекст // Иосиф Бродский: стратегии чтения. М.: Ид-во Ипполитова, 2005. С. 256–265.

<sup>2</sup> См.: Айзенберг М. Оправданное присутствие. М.: Baltus, 2005.

*и, в общем, планета наша,  
похожая на новобранца,  
потеющего на марше.*

«Новобранец», возникающий в конце стихотворения, намекает на положение молодого поколения, которое учится существовать в регламентированном мире. Образ «новобранца» переводит пафос взросления («мама», «нам нравится распускаться», «нам нравится колоситься») и превосходства (ироничное «обитатели храма») в контекст борьбы с действительностью («драться»), что сближает это стихотворение Бродского с «громкой» поэзией «оттепели», но осознание себя в поколении молодых и борющихся исчезает к середине 1960-х годов вопреки, казалось бы, навязываемой судьбой борца.

В стихотворение «Песня невинности, она же – опыта» (1972) также вводится местоимение «мы», что позволяет прочесть текст как рефлексию опыта своего поколения. В названии Бродский подчеркивает неразрывность состояний невинности и опыта: опыт и его отсутствие равноценны для человека – поколение инфантильно и когда полно надежд, и когда получает опыт разочарования. Отделение себя от поколения «молодых» вызвано обретением неиллюзорного сознания. В ранних стихотворениях можно найти выражение ощущений ребенка («малыш» из «Писем к стене» (1964), «мальчик» из «Стансов городу» (1962)), но уже в стихотворении «Отрывок» (1964) лирический субъект надевает маску «старого человека», отказывается участвовать в эстафете поколений:

*Я не гожусь ни в дети, ни в отцы.  
Я не имею родственницы, брата.  
Соединять начала и концы  
занятие скорей для акробата [I, 397].*

В стихотворении «Однажды во дворе на Моховой» [II, 195] (1960-е) даются разные модели поведения ребенка и взрослого. Лирический субъект смотрит в окна дома и замечает пластмассовую куклу:

*Она была, увы, расчленена,  
безжизненна, и (плачь, антибиотик)  
конечности свисали из окна,  
и сумерки приветствовал животик.*

*Малыш, расвирепевший, словно лев,  
ей ножки повыдергивал из чресел.  
Но клею, так сказать, не пожалев,  
папаша ее склеил и повесил  
сушиться, чтоб бедняжку привести  
в порядок. И отшлепать забяку.*

Образ куклы совмещает два значения: это вещь, продукт человеческого труда, и это «вещный» образ человека. Таким образом, агрессия ребенка направлена одновременно против человека-творца куклы и человека-куклы, и агрессия имеет природный, инстинктивный характер («словно лев»), проявляя в ребенке свойства взрослого человека, смягченные культурой. Взрослый («папаша») старается навести «порядок», склеить разрушенное, восстановить целостность. Лирический субъект, представленный как «зевака», соотносится с ребенком: он тоже разрушитель («стоял я, сжав растерзанный букетик»), однако поступок отца оценивает как «подвиг», иронически уподобляемый деяниям полярных исследователей (Амундсена и Папанина), полетам космонавтов в неизвестный и губительный космос. Ироническое возвышение над отцами объясняется отсутствием амбиций, хотя признаётся свидетельством «испорченности», тщетный акт созидания принимается, как и иллюзорная позиция отца, выше, чем познавательное разрушение ребенка.

Бродский нивелирует собственную принадлежность к поколению «детей», перейдя в поколение «отцов», хранителей. Стихотворение «Сидя в тени» (1983) он называет «серенадой отца / арией меньшинства».

Образ ребенка как начала новой жизни, чуда рождения присутствует у Бродского в стихотворениях на библейскую тему, особенно в «рождественских», и семантика библейского младенца отличается от семантики «обычных детей». Как пишет А.Ю. Сергеева-Клягис, Бродский склонен «рассматривать ситуацию Рождества как архетипическую», поскольку для него она связана «с движением времени»; в интервью П. Вайлю Бродский говорил, что это «праздник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением времени»<sup>1</sup>. По мнению исследователя, «основной механизм Рождества» действует только

<sup>1</sup> Бродский И. Рождество: точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем // Бродский И. Рождественские стихи. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 68



в том случае, если Младенец – действительно Христос»<sup>1</sup>. В таком случае Бродский следует культурному мифу, и его образ младенца соответствует юнговскому архетипу младенца-бога, который «меньше малого и больше большого», может спасти мир<sup>2</sup>. Стихотворения, в которых создан образ божественного младенца, создавались Бродским на протяжении всей жизни: «Рождество 1963 года» (1963-1964), «Рождество 1963» (1964), «24 декабря 1971 года» (1972), «Лагуна» (1973), «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...» (1980), «Рождественская звезда» (1987), «Бегство в Египет» (1988), «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере...» (1989), «Неважно, что было вокруг, и не важно...» (1990), «Prescrio» (1991), «Бегство в Египет» (II) (1995). В стихотворении «Рождество 1963 года» (1964) младенец явлен как начало времени: «Никто не знал кругом, / что жизни счет начнется с этой ночи». При этом будущность младенца скрыта (он спит), окружающий мир дан в состоянии холода (снег, сугроб, холодный ветер), а с местом, где младенец лежит, связана семантика тепла и света (костер, дым, свеча, огонь), образ звезды («звезда светила ярко с небосвода»), указующей волхвам на рождение Спасителя. Младенец, таким образом, соотносится с метафизическим миром.

В стихотворении «Разговор с небожителем» [II, 209] (1970) образ младенца лишен сакральной семантики, хотя время – Страстная неделя – относит сюжетную ситуацию к Пасхе. В разговоре с П. Вайлем Бродский развивает мысль о том, что Запад сосредоточен на Рождестве, чистой радости, а Восток – на Пасхе, пафос которой – «слеза»<sup>3</sup>. «Разговор с небожителем» – «пасхальное» стихотворение – лишён чуда воскресения; на речь, направленную к «небожителю», не ожидается ответа. И. Служевская называет «Разговор с небожителем» «метафизическим бунтом против Небожителя»<sup>4</sup>, отца, а не дитя. Образы старика и ребенка в конце стихотворения профанно доказывают невозможность ни возрождения, ни воскресения, весна для них не наступит:

<sup>1</sup> Сергеева-Клитис А. Ю. Молчание младенца // Поэтика Бродского. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2003. С. 327.

<sup>2</sup> См.: Юнг К. Г. К пониманию философии архетипа младенца // Самосознание культуры и искусства XX века. М., СПб.: Университетская книга, 2000. С. 141.

<sup>3</sup> Бродский И. Рождество: точка отсчета. С. 79.

<sup>4</sup> Служевская И. «Разговор с небожителем»: поэтика рационального // Служевская И. Три статьи о Бродском. М.: Квартет-Пресс, 2004. С. 52.

*И взгляд младенца,  
еще не начинавшего шагов,  
не допускает таянья снегов.*

*Но и не деться  
от той же мысли – задом наперед –  
в больнице старику в начале года:  
он видит снег и знает, что умрет  
до таянья его, до ледохода.*

Младенец и старик – крайние точки человеческой жизни, приближенные к небытию, существуют в зиме; весна соотносится с тем, что между младенчеством и старчеством, с человеческой жизнью, лишённой цикличности<sup>1</sup>.

Пафос рождения совершенно отсутствует у Бродского при уюмировании рождения «обычных» детей. Н. Славянский определил миропонимание Бродского как мизантропическое: «родившись на свет, мы крепко влипли»<sup>2</sup>. Однако Бродский делает акцент не только на страдании, на которое обречен родившийся человек, рождение воспринимается как агрессия мира, в котором человек, родившись, соучаствует в зле. Провозглашение не-рождения есть в стихотворениях «Стихи о зимней кампании 1980 года» (1980), «The Berlin Wall Tune» (1980), «Портрет трагедии» (1991), «Глупое время...» (1994):

*Слава тем, кто не поднимая взора,  
шли в абортарий в шестидесятых,  
спасая отечество от позора! [III, 10]*

«Стихи о зимней кампании 1980 года»

*A bird may twitter a better song.  
But should you consider abortion wrong  
or that the quacks ask too high a fee,  
come to this wall and see<sup>3</sup>.*

«The Berlin Wall Tune»

<sup>1</sup> Р. Измайлов пишет, хотя «постоянство Рождества – залог вечности в распадающемся мире», «Рождество у Бродского оказывается сошествием в ад без крестной смерти, и не сопровождается воскресением и спасением» – Измайлов Р. «Библийский текст» в творчестве Бродского: священное время и пространство // Сибирские огни. 2008. № 5. Электронный ресурс: [www.sibogni.ru](http://www.sibogni.ru)

<sup>2</sup> Славянский Н. Из страны рабства – в пустыню // Новый мир. 1993. № 12. С. 241.

<sup>3</sup> Brodsky I. Collected Poems in English. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002. P. 236.

*Птичка может прощепетать лучшую песню.  
Но если ты считаешь аборт неправильными,  
или что знахари просят слишком высокую плату,  
– приходи к этой стене и смотри. [Перевод мой – Н.Г.]*

В стихотворении «Из Парменида» [1987], в противовес картине мира у Парменида, который считал, что небытия нет, у Бродского окружающий мир – мир смерти: война, поджог, жертвы, катастрофа; образы роддома и младенца иллюстрируют бессмысленность рождения как спасения жизни: «совершить поджог роддома» и после поджога – «спасти младенца». Глаголов в личной форме в стихотворении нет, что придает тексту вневременный смысл; отношения с миром передаются существительными («Наблюдатель? свидетель событий? войны в Крыму?») или инфинитивом («самому совершить поджог!», «вызвать», «прыгнуть», «спасти», «назваться», «обучить», «сесть», «быть», «отказаться»), то есть действия только обозначаются, но не совершаются, что и определяет отцовскую пассивность. Смысл отцовства заключается в обучении младенца «складывать тут же из пальцев фигу», т.е. относиться к миру отстраненно и с презрением.

В эссе «Меньше единицы» Бродский выражает отношение к детству как к стадии формирования личности: «Янисколько не верю, что все ключи к характеру стоит искать в детстве» [V, 9]; «Эти категории – детство, взрослость, зрелость – представляются мне весьма странными, и если я пользуюсь ими иногда в разговоре, то про себя все равно считаю заемными»; «Внутри этой раковины сущность, называемая «я», никогда не менялась и никогда не переставала наблюдать за тем, что происходит вовне»; «Ход времени мало затрагивает эту сущность», «вог почему испытываешь некоторое изумление, когда вырастаешь и оказываешься перед задачами, которые положено решать взрослым» [V, 16]. Детству не придается значение, потому что бессознательное не является для Бродского основанием формирования личности, для него формула существования – «сознание определяет бытие». Детство понимается Бродским как опасная пора неразвитого сознания, когда навязываются чужие истины и чужая воля, от которых трудно защититься. Отсутствие самосознания в детском возрасте обозначено в стихотворениях «Желтая куртка» (1970), «Осенний крик ястреба» (1975). Учеба, школьничество соотносится с насилием: в «Меньше единицы»; школа сравнивается с армией, ученики – с маленькими рабами, с агрессией в стихотворениях

«1 сентября» (1967), «Сан-Пьетро» (1977), «A Martial Law Carol» [1981], в цикле «Из “Школьной антологии”», в которой существование одноклассников<sup>1</sup> не обусловлено влиянием школы.

В стихотворении «Феликс» [1, 450] (1965) подростковое сознание определено половым созреванием:

*...дети превращаются в мужчин  
упорно застревая в ипостаси  
подростка.*

Состояние и понимание «счастья» (имя «Феликс») представлено иронично как желание эротических ощущений:

*И слыша, как отец его, смеясь,  
на матушке расстегивает лифчик,  
он, нареченный Феликсом, трясясь,  
бормочет в исступлении: «Счастличик».*

Название стихотворения отсылает к упоминаемому в тексте Феликсу Дзержинскому, подростковая стадия увязывается с насилием и несвободой. Астрономический дискурс: «цезий для ракет», «скопления туманных планет», «межпланетный ураган», «Гагарин – не иначе», образ телескопа – позволяют трактовать подростковый возраст как время опасного открытия неизвестного мира, покорения мира в реализации сексуальных желаний: Феликс фигурирует как исследователь, врачеватель, археолог, изобретатель, «наступающий солдат», «завоеватель». Молодое стремление к покорению мира и его переустройству зиждется на сексуальной сублимации, сводимой к артистической позе, называемой «авангардом»:

*Однако авангард есть авангард,  
и мы когда-то были авангардом.  
Теперь мы остаемся позади,  
и это, понимаешь, неприятно...*

Авангардность, деструктивность, агрессивность руководствуются инстинктами, противоположны культуре чувств и мыслей: «Какой-нибудь отъявленный Ромео / все проиграет Феликсу».

<sup>1</sup> См.: Рытова Т. Проблема существования в цикле И. Бродского «Из “Школьной антологии”» // «Чернеть на белом, откуда белое есть...» Антиномии Иосифа Бродского. Томск: PaRt.com, 2006. С. 31–52.

Особую семантику имеет образ ребенка, когда это собственное дитя: 8 октября 1967 года у Бродского и Марины Басмановой родился сын Андрей. В январе 1968 года происходит окончательный разрыв с Мариной, и поэт почти лишен возможности видеться с сыном. После эмиграции поэт в 1989 году женился на Марии Соццани, и в 1993 году 9 июня у них родилась дочь Анна. Чувство отцовства выразилось в таких автобиографических стихах: «Пророчество» (1965), «Речь о пролитом молоке» (1967), «Прощайте, мадемуазель Вероника» (1967), «Сын! Если я не мертв, то потому...» (1967), «Anno Domini», «Весы качнулись. Молвить не греша...» (1968), «Любовь» (1971), «Одиссей Телемаку» (1972), «Иския» (1993), «Итака» (1993).

Стихотворение «Пророчество» (1965) [1, 421] посвящено М. Б. и написано до рождения сына. Оно выражает представления автора о том, какими могут быть дети для человека. Семейный мир предполагает отгороженность от окружающей действительности, как существование на границе суши и хляби (знаки — прибой, отлив, волны, дождь)<sup>1</sup>; берег представляется идеальным местом, дамба отгораживает не от воды, но от континента («отгородившись высоченной дамбой от континента», «в небольшом кругу», «огород»); семейное пространство — «Голландией наоборот».

«Пророчество» свидетельствует об идиллическом представлении о семье и отцовстве в середине 1960-х годов: лирический субъект и его возлюбленная живут первобытной рыбацко-сельской жизнью: «и будем устриц жарить за порогом», «и солнечным питаться осьминогом», «пускай шумит над огурцами дождь»; «по-эскимосски» «есть сырое мясо»; «осока нашей кровли деревянной» в «лесной стране». Они живут телесной близостью: «и с нежностью ты пальцем проведешь / по девственной, нетронутой полоске». Вещный мир, быт сведены к минимуму: «самодельная» лампа создает пространство, отгороженное от внешнего мира, но притягательное, что выражается в образе мотылька, бьющегося о лампу. И всё же семейная идиллия предстаёт промежутком между началом и исчезновением: этому соответствует амбивалентная семантика лампы — в начале защищающей, в конце губящей; прибой, заканчивающийся отливом; наконец, неизбежное

---

<sup>1</sup> Предпочтении воды суше постоянно у Бродского. См., к примеру, англоязычное стихотворение из «Shorts»: Brodsky J. Collected Poems. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002. P. 466.

возвращение – «обратно перебраться через дамбу». Игра в каргы, сопровождающая «семейный» уклад, придает ситуации значение игры, в которой нельзя выиграть («нас вместе с козырями отнесет / от берега извилистость отлива»).

Дети в этом стихотворении мыслятся продолжением («в грядущем утвердятся»), немаловажно для прочтения стихотворения то, что Бродский назвал сына и дочь именно так, как предписывается в «Пророчестве»: Андрей и Анна. Выбор имени в стихотворении объясняется тем, что имена начинаются на букву «а», которая символизирует русский алфавит. Примечательно, что «лингвистический дискурс» появляется в связи с детьми: дети и язык в стихотворении уравниваются как продолжение существования. Лирический субъект причисляет себя к «отцам» («Я буду стар, а ты – ты молода»), а ребенок – иной, несмышленный, но потенциально причастный к отцу готовностью к пониманию: «И наш ребенок будет молчаливо / смотреть, не понимая ничего...»), его «сморщенное личико» – знак напряжения при встрече с языком отца.

Стихотворение «Сын! Если я не мертв, то потому...» (1967) [II, 55] написано после рождения сына, когда Бродский был с ним разлучен и едва ли к нему допускался. Стихотворение построено как обращение к сыну, которому сказано, что отец мертв, это протест против исчезновения из жизни сына, чье существование заставляет держаться за жизнь, думать о миссии поддержания сына, обреченного познанию конечности всего (схоже со стихотворением «Письма к стене», 1964):

*во мне кричит все детское: ребенок  
один страшится уходить во тьму.*

Существование сына заставляет отца чувствовать жизнь в её плоти, что присуще любовным стихам; знаки телесного обильны в стихотворении: «связки», «перепонки», «живые органы», «животное». Лирический субъект готов забыть об умирании и старости: «что молодости пламенной... – я молод», «взрослый», «...близость смерти ложью не унижу: я слишком стар», «я бессмертен». С другой стороны, возвращение детских ощущений приближает к пониманию своего реального взросления и смерти («в Аду тебя не встречу», «А смерть – ничтожный физиономист»). Мотив разлуки с сыном вводит миф об Одиссее, который воплотится после эмиграции в «Одиссеей Телемаку» (1972).

В стихотворении «Прощайте, мадемуазель Вероника» (1967) сын скрепляет семью, побуждая отца оставаться в ней, покуда ребенок слаб:

*...лет через двадцать, когда мой отпрыск,  
не сумея отоварить лавровый отблеск,  
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь  
бросить свое семейство...*

Употребляются не слова «дитя», «ребенок» или «сын» с семантикой рода (слово «дитя» происходит от индоевропейского корня, означающего «доить», кормить грудью<sup>1</sup>; слово «ребенок» происходит от общеславянского корня, означающего «слабый, беспомощный»<sup>2</sup>), но слово «отпрыск» с семантикой «побег», к тому же имеющее иронический оттенок. Кроме того, говоря о «лавровом отблеске» и рифмуя «отблеск» с «отпрыском», пусть и не без иронии, родитель ставит себя на первое место, ребенку остается роль тени.

В стихотворении «Anno Domini» (1968) [II, 65] лирическая ситуация – разлука с женой и сыном – интерпретируется через исторический и библейский сюжеты. Пространство стихотворения – «захолустная провинция Рима»<sup>3</sup>; в стихотворении сопоставлены судьбы Наместника и автора (его маски):

*я думаю о сходстве наших бед:  
его не хочет видеть Император,  
меня – мой сын и Цинтия...*

Главная беда Наместника – болезнь и опасение за сохранность власти, измены жены его почти не беспокоят. Лирический герой осознаёт главной бедой расставание с женой и сыном. Близость ситуаций – в бессилии изменить происходящее: «наследники и власть в чужих руках». Историческая ситуация профанирует рождественский сюжет: волхвы заменяются «чужими господами», «нимб заменяют ореолом лжи, а непорочное зачатие – сплетней, / фигурой умолчания об отце...». Деторождение,

<sup>1</sup> Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.: Русский язык, 1994. Т. 1. С. 246.

<sup>2</sup> Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. С. 102.

<sup>3</sup> См.: Куллэ В. Иосиф Бродский: Путешествие из Петербурга в Венецию // Параллели. 2002. № 1. С. 159–172.

отцовство сравнивается к библейской ситуации, где отцовство не соответствует семейным отношениям.

В 1969 или 1970 году Бродский пишет стихотворение «Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова» [IV, 10], в котором фигурирует лирический герой-маска, однако сюжетная ситуация автобиографическая, Бродский обнаруживает банальное тождество собственной драмы массовым любовным историям. Маска заявлена в названии фамилией лирического героя, но «Иванов» – в русском языке используется для обозначения русского человека. «Песнь Иванова», проявляя характер ролевой лирики, насыщена просторечной лексикой и формами слов, ругательствами: «шалман», «кажинный», «бежи», «зараза», «баржи», «базлаю», «буфера», «суки». Герой Бродского глубоко несчастен, пьянство восполняет утраченную любовь, что проявляется в рифмовке: слова, связанные с алкогольными возлияниями, рифмуются со словами, описывающими эмоции героя по отношению к невесте: «невесте» – «заказываю двести», «убил» – «пил», «полбанки» – «на оттоманке», «целой – бутылку белой». Петербургское пространство (Литейный мост), положение лирического героя на берегу реки встречается у Некрасова в известном стихотворении «Давно отвергнутый тобою...» (1855), которое входит в панаевский цикл, где потеря любимой соотносится с рекой, пугающей либо манящей смертью.

В стихотворении Бродского дети бывшей невесты от другого закрепляют окончательность потери возлюбленной для лирического героя:

*Их мог бы сделать я ей. Но на деле  
их сделал он...*

Дети, плод телесной «любви», получают обозначение «пацаны» (в украинском языке связано со словом «поросенок»<sup>1</sup>).

Схожая семантика образа детей дается в стихотворении «Любовь» (1971) [II, 265]. Любовь в плотском проявлении – рождение детей – не закрепляет отношений: женщина соотносится с ночью и сном «ты снилась мне беременной», «оставлял тебя одну / там, в темноте...», «Ибо в темноте / – там длится то, что сорвалось при свете», «В какую-

<sup>1</sup> Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. С. 15.



нибудь будущую ночь / ты вновь придешь усталая, худая...», «оставить вас в том царствии теней». Рождение детей подтверждает физиологические ощущения («дети лишь оправданье нашей наготы», «и я увижу сына или дочь»), но эти ощущения принадлежат ночи, исчезают при свете дня, времени, правды. Лирический субъект связан с днем, сном, явью, разлукой: «я пробуждался», «фонари в окне, / обрывок фразы, сказанной во сне, / сводя на нет, подобно многоточью / не приносили утешенья мне», «сорвалось при свете», «зависимость от яви, / с моей недосыгаемостью в ней», «перед изгородью дней». Пересключение тьмы на свет, сна на явь, близости на разлуку реализуется в образе выключателя: «руки... на практике нашаривали брюки / ... и выключатель. И бредя к окну...», «... тогда я / не дернусь к выключателю и прочь / руки не протяну уже...». Пересключение желаний на явь губительно для любви: она длится лишь в темноте сознания, памяти.

Другой источник разлуки, не преодолеваемый рождением детей, – стремление мужчины к бегству в огромный мир (стремлении лирического субъекта подойти к окну), что приводит к неизбежному расставанию с женщиной (ср. «Дидона и Эней», 1969).

С 1972 года разлука с сыном интерпретируется через миф об Одиссее: стихотворения «Одиссей Телемаку» (1972) и «Итака» [1993]. По мнению Т. Рыбальченко, в первом стихотворении Телемак – сын Одиссея – связан с темой будущего, являет собой антитезу смерти, а любовь является антитезой равнодушию. Однако закон разлуки отца и сына непреодолим, так как вызван внутренними причинами, на которые указывает упоминание Эдипова комплекса. Раннее расставание отца и сына благотворно для отца: сочетание мифов об Одиссее и Эдипе в стихотворении намекает на смерть Одиссея от другого сына – Телегона. Таким образом, миф проявляет взаимоотношения отца и сына как губительные для отца. В стихотворении «Итака» воссоединение с семьей интерпретируется как унижение от близких – сына и жены<sup>1</sup>; сын не нуждается в отце и ему почти враждебен:

*Твой пацан подрост; он и сам матрос,  
и глядит на тебя, точно ты – отброс* [III, 232].

---

<sup>1</sup> См. об этих стихотворениях: Рыбальченко Т. К. Батюшков и И. Бродский: интерпретация образа Одиссея // Батюшков. Исследования и материалы. Череповец, 2002. С. 143–158.

В стихотворениях, где ребенок символизирует вытесненные будущим прошлого, – это всегда мальчик, подросток в стадии полового созревания. В стихотворении «Посвящается Ялте» (1969) сюжет убийства, совершенного подростком, раскрывает подростковую агрессивность. Подросток упоминается в стихотворениях «Fin de siècle», «Август», где зарождающаяся мужская сексуальная энергия толкает к отбиранию жизни у другого: Эрос становится Танатосом.

Стихотворения, где речь заходит о дочери, имеют иную семантику: дочь никогда не воспринимается как вытесняющее будущее. Факт, что это мало связано со счастливыми последними годами семейной жизни, подтверждается стихотворением «Речь о пролитом молоке» (1967) [II, 27], где инвектива окружающей реальности и собственной жизни заканчивается неожиданным:

*Ходит девочка, эх, в платочке.  
Ходит по полю, рвет цветочки.  
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.*

Финал снимает раздражение, детство девочки оказывается тем, что может примирить с жизнью.

В стихотворении «Иския в октябре» (1993) [III, 227] попытка отградиться от окружающей действительности в семье осознаётся невозможной, однако выражено чувство, что «дочка с женой» – вместе с лирическим субъектом («мы здесь втроем»), а не против него, как сын в «Итаке».

Англоязычное стихотворение «To my Daughter» (1994), посвященное дочери (обращает на себя внимание тот факт, что сыну Бродский посвящает стихотворение «Колыбельная Трескового мыса», но это посвящение не определяет содержания стихотворения), по мнению Д. Бетеа, является прощанием поэта, осознающего приближение смерти, с маленькой дочерью. «Бродский прощается с дочерью, переходя на язык американской городской культуры, которая для него является земной, а ей принадлежит по праву рождения»<sup>1</sup>. Возможность продолжения себя в дочерней памяти признается в стихотворении.

Образ дочери, не являющейся дочерью лирического субъекта, неоднократно возникает в стихотворениях периода эмиграции: «В озерном краю» (1972) – «в стране зубных врачей, / чьи дочери выплывают

<sup>1</sup> Бетеа Д. «To my Daughter» // Как работает стихотворение Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 240.

вещи...»; «Осенний вечер в скромном городке» (1972) – «топограф был, наверное, в азарте / иль с дочерью судьи накоротке»; «Английские каменные деревни» (из цикла «В Англии», 1977) – «человек... улыбается дочке, уезжающей на Восток». Эта деталь – знак интимного комфорта западного мира, увиденного лирическим субъектом и делающего очевидным его собственное одиночество. В российском пространстве семейные связи предстают изломанными: «Там одиночка мать вывозит дочку в скверик», «там дедушку в упор рассматривает внучек» («Пятая годовщина», 1977).

Парадоксы естественных отношений между отцом и сыном, обосновывающие недоверие Бродского кровно-родственным связям, воспроизведены в стихотворениях «Исаак и Авраам» (1963), «Резиденция» (1987), «Дедал в Сицилии» (1993), в них погибает сын, т.е. представлен отец, убивающего своего ребенка, что проявляет человеческой склонности к взаимоуничтожению. В стихотворении «Исаак и Авраам» (1963) ветхозаветная ситуация свидетельствует об уязвимом положении ребенка, не владеющего знанием, которым обладает родитель. «В отличие от С. Кьеркегора, И. Бродский свое внимание сосредоточивает на Исааке – жертве. Авраам знает все. Исаак – ничего»<sup>1</sup>.

Стихотворение «Резиденция» даёт образ тоталитарного государства. Детоубийство – такое же свойство тоталитарного режима, как и отцеубийство: конкуренция завершается убийством ребенка: образу гибнущего сына тирана в финале стихотворения предшествуют другие, связанные с частными отношениями. Вырождение, естественное и насильственное, проявляется во всём: «родня доживает»; «внучка хозяйина» – вырождающееся существо («короткопала», «близорука», «ковыряет средь бела дня» в зубах пианино). Упоминание имени Золя отсылает к идее наследственности вырождения.

Стихотворение «Дедал в Сицилии» [III, 226] трактует миф о Дедале, искусном архитекторе и скульпторе, мастере. Дедал сбросил с Акрополя ученика, так как его мастерство вызывало у Дедала зависть; спасаясь с отцом от Миноса, погиб сын Дедала Икар<sup>2</sup>. В стихотворении Дедал,

---

<sup>1</sup> Измайлов Р. «Библиейский текст» в творчестве Бродского: священное время и пространство // Сибирские огни. 2008. № 5. <http://www.sibogni.ru/archive/83/998/>

<sup>2</sup> «Сделав крылья (склеив перья воском), Дедал вместе с сыном улетели с острова. Икар, поднявшись слишком высоко, упал в море, так как солнечный дар растопил воск» – Тахо-Годи А. Дедал // Мифы народов мира. Т. 1. С. 363.

виновный в гибели ученика и сына, изображён в конце жизни, но угнетённый виной. Гибель сына представлена как результат непослушания отцу:

*Сын во время полета погиб, упав  
в море, как Фазтон, тоже некогда пренебрегший  
наставленьем отца.*

Упоминание еще одного мифологического персонажа – Фазтона, сына Гелиоса, который ослушался отца, взялся управлять солнечной колесницей Гелиоса и погиб, испепеленный жаром, – также указывает на неизбежную судьбу ребенка при попытке превзойти могущественного отца<sup>1</sup>.

Но и ребенок в стремлении отделиться от отца наделяется не любовью, а стыдом и опасением повторить отца:

*...и постройки стремятся отделиться от чертежей,  
по-детски стыдясь родителей.  
Видимо, это – страх повторимости.*

Образ ребенка у Бродского, таким образом, выражает не просто распад связи между поколениями, но их агрессию в отношении друг друга. «Дети» стремятся обогнать отцов, отцы защищаются. И только в культуре ребенок может наследовать отцу.

---

<sup>1</sup> См. Тахо-Годи А. Фазтон // Мифы народов мира. Т. 2. С. 559.